

РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР

ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА. ШВЕЙЦАРИЯ



Мариэлла Мер. Волчица из Лучиньяно

Мариэлла Мер

**ВОЛЧИЦА**

**ИЗ ЛУЧИНЬЯНО**



**G**





**ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА**

*Перевод с немецкого  
Сергея Морейно*

**МАРИЭЛЛА МЕР**

**Волчица  
из Лучиньяно**

**Русский Гулливер**

В основе издания лежат книги Mariella Mehr  
*Nachrichten aus dem Exil. Widerwelten. Das Sternbild des Wolfes.*  
Drava Verlag, Клагенфурт 1998, 2001, 2003,  
а также предоставленные автором неопубликованные стихотворения

Мариэлла Мер. Волчица из Лучиньяно.  
Русский Гулливер, Москва 2017. – 84 с.

Издательство и переводчик благодарят Swiss Arts Council *Pro Helvetia*  
и Дом переводчиков *Looren* за поддержку этой книги

## prohelvetia

[lo:rən]

Translation House Looren

Руководитель проекта – Вадим Месяц

Составление, перевод, обложка – Сергей Морейно  
Консультанты – Франциска Цверг, Зорка Цикламини  
Редактор – Алда Бароне

Двойственность книг Светланы Алексиевич (желание быть интересной, повествуя о чужой боли). Ахматовский *Реквием*, которому уже с самого начала не очень-то веришь: «– А это вы можете описать?! И я сказала:/ – Могу» (не смогла). *Живые картины* П. Барсковой, где для марша по костям поэта берет слишком четкий шаг: хочется, чтобы она таки сбилась (ан нет). Словам в эпоху блокчейна, распределяющего истину по блокам, и ютюба, демонстрирующего записанные вживую убийства, должно быть, постыло выполнять номинативную функцию. Оттого-то врут все; не все врут, как это бывало прежде, но врут все. Не только политики и дипломаты, но бизнесмены, врачи, учителя, музыканты и художники-концептуалисты. Вру я, врут пресловутый Другой...

© Mariella Mehr: *тексты, 1983–2016*

© Сергей Морейно: *переводы, 2017*

© Русский Гулливер: *издание, 2017*

ISBN 978-5-91627-151-5

Мариэлла Мер —

швейцарская поэтесса, писательница и переводчица. Родилась в Цюрихе (1947) в семье енишей, «белых цыган» или «кочующих». До начала 70-х годов правительство проводило полуофициальную политику ликвидации культуры енишей, определяя взрослых енишей как душевнобольных и «адаптируя» детей до уровня «нормальных швейцарских граждан». С помощью частного фонда Pro Juventute, «борющегося за соблюдение прав детей и юношества», в рамках программы «Дети проселков» [Kinder der Landstraße, 1926–1973] около 600 детей белых кочевников были изъяты из родных семей и помещены в приюты, интернаты, временные семьи и даже тюрьмы. Судьба Мариэллы Мер, вернее, внешняя ее канва: жертва и борец. Ее держали в учреждениях для трудновоспитуемых и слабоумных, лечили электрошоком от «предполагаемой врожденной шизофрении и морально-го идиотизма», неоднократно насиловали (лечащий врач, приемный отец, случайный попутчик, работодатель). Отняли сына, которого она в 1966 родила от ночного портье, инженера-мостостроителя без права на работу по специальности — полуеврея, полуцыгана, проведшего четыре года в Дахау. Объявляли в розыск, сажали, стерилизовали (без ее ведома). Она убегала, прихрамывая от истощения на левую ногу; стояла, переодевшись в мальчика, за стойкой бара для гомосексуалистов; служила горничной и работала на фабриках. Училась, читая; писала, свидетельствуя; пыталась покончить с собой и лечилась в психиатрических клиниках.

С 1974 занимается журналистикой. В 1976–1982 была секретарем «Колесного братство проселков» [Radgenossenschaft der Landstrasse (1975)], куда вместе с енишами также влились обычные — в нашем понятии — цыгане: рома и синти. В 1981 Zytglogge издает ее первый роман «Каменное время» [Steinzeit]. За ним – «Свет женщины» [Das Licht der Frau, 1984], о женщине-тореро. Выходят «Вотдита» [Daskind, 1995: Nagel & Kimche] и другие. Следуют премии кантонов — и, отдельно, городов — Цюрих, Берн; премия кантона Граубюнден и так далее (с 1998 — почетный доктор Базельского университета). В 1983 она знакомится с Хансуэли Элленбергером [H. U. Ellenberger], дипломированным инженером-химиком, за которого в 1991 выходит замуж и который поддерживает ее во всех гражданских начинаниях. С 1997 живет в Лучиньяно (регион Тоскана), в 2015 возвращается в Швейцарию. Во время очередной госпитализации Мариэллы Мер в 2016 Х. У. Элленбергер добровольно уходит из жизни: «...в одиночестве, в Италии, почти восьмидесятилетний; усталый, больной, но не утративший бойцовского духа и острого чувства справедливости» (“Khetanes”).

## СОДЕРЖАНИЕ

### ИЗВЕСТИЯ ИЗ ССЫЛКИ

- 11 Еще на сердце твоём листва
- 12 Ты помнишь?
- 13 В безместности
- 14 Полулика, неприкрыта
- 15 Вот и стрижи вернулись по своим башням
- 16 Сноска Красный
- 17 В состаривании минут поседев
- 18 Casa Rossa, твердишь
- 19 Нуль, не место
- 20 Там, возле колодца
- 21 Не было моря у наших ног
- 22 Не грезой настал звездопад
- 24 Этим летом армии птиц уходили прежде
- 25 вот дурочка моя серого глянца
- 27 когда-нибудь-ноги
- 28 нежная звукопись юрского утра
- 29 Шапкой-невидимкой собирается дух
- 30 Строчка волны
- 31 Он скачет, он мчится

### ПРОТИВОМИРЫ

- 33 Еще раз
- 34 Кровь-камнем притянутые
- 35 Я всё еще

- 36 Остров резких секущих восходов солнца  
37 Смерть, помстившаяся  
38 Час пробуждения  
39 Бесчастливая ночь  
40 Шило в моей плоти  
41 Гиацинф, опекун лепестка моих ран  
42 Кристально чиста, говоришь ты о мерзлой земле  
43 Верни мне назад эту ночь  
44 Синь  
45 Не перебесилась в крови тишина  
46 Мой тлеющий ангел  
47 Сердце фазана  
48 Мой сон бросился вон  
49 Вставайте, мертвые  
51 Готова в путь, родина в горсти  
52 Созвездие пастыря  
54 Преданы за могилой могила тьме

#### ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ВОЛКА

- 57 Приснопадая  
58 Спать  
60 Время опорожнить стакан  
61 Впрягай мое имя  
62 Дурное пробуждение  
63 Оружия жаждет лишь безумие  
64 Едва надежда  
65 Мы спим, руки  
66 День  
67 Сломанная синеглазка  
68 Нет  
69 Я не избегала городских перекрестков  
70 Говорят  
71 Ничьей свободы я не лишена  
72 В такие часы

- 73 Вейо, братец
- 75 Морская зыбь
- 76 Мы спаслись от себя
- 77 Сообщения от тебя
- 78 Загадочен твой висок
- 79 Кожа твоя
- 80 Тревоги хором
- 81 Твой брат, полыхающий слог
- 82 Гравитация хандры

## **Известия из ссылки**

*Х. У. Элленбергеру*

Еще на сердце твоём листва,  
и свежая шепоть соли  
стынет во взгляде.

Каких там я корешков  
и чьего я ока зеница,  
никто не узнает вовсе.

Всё чаще в крови поет волк,  
мне сразу теплеет  
в одном чужом наречье.

Свет, я скажу, волчий свет,  
скажу, и да не явится ни один  
стричь мне косы.

В чужих прорастаю крохах  
и я сама себе слово.  
Бренность, себе скажу,  
сдадутся вот-вот все ростки,

и каждый час истечет до капли.

Ты помнишь?  
Алое заволокно дом  
в зеленошистых камнях,  
рану земли  
обвивших?

В Коломбайе  
разгулявшиеся небеса,  
хмуρο летели в тот час  
в-под прозелень  
голуби стаей.

Не вбегай в двери,  
сказал,  
когда пуля к пуле шла  
и в лобных долях  
— в моих —  
плоть к плоти  
с костей срывалась.

Логостремителен  
галсами лёт,  
когда язык пламени к  
небу льнет  
и кости, неотесанные,  
к лобному месту дорогу пытаются.

Так не пытай ты о ранах моих,  
когда мой голодорот  
ангела решает  
прятать.

В безместности  
несвернутой горой питается слово.  
Теряет во фразе фраза,  
мой Вавилон.  
Одни лишь раны жалят молча.

Я всё новых мест  
спрашиваю, друг, и иная  
случится ли весна;  
часы не израсходованы,  
розовый куст углублен  
в свое оживание.

С последней снежной бурей, друг,  
протяни мне ветку омелы и  
еще одну шепоть зимы  
просыпь мне на лоб.

Тогда, друг, влей туда,  
в расщепленную гору,  
мою кровь вагабундо.

Я могла бы  
быть прощена пред серой  
ранью.

Полулика, неприкрыта  
черничкина плоть  
в бегах от  
обоеполых рук.

Другое, скалистая ли луна,  
лилейная кровь  
мой череп насквозь  
прозвонят в розысках следов  
минуты счастья,

коричнопальцево  
— если на то пошло —  
мое слово промыслит на  
черно-смоляных отменях сна.

Я прошла светоногой.  
Я сном преисполнена  
рекой подать куда  
шла светоногой

пред дверью твоей  
сделалась я зола.  
Зла.

Вот и стрижи вернулись по своим башням.

Световой пробсек в мою  
врубается кожу,  
мою — на бессолнечном мясе.

Холмы, в дурмане бездействия,  
легкопята, плюя на мороз,  
что снова (кто знает, не в последний ли раз)  
двинул на равнину и старую зиму гнетет, нас  
заставляя ранить.

Сон каждого молодеет,  
пыльца и пряность скрашивают часы,  
прошло время робких празднеств  
в словах и во фразах

собирается ночь отжать к утру свой сок.

Говори не спеша, еще  
не повинилось набело слово,  
и ни один ангел не вплеп жасмин  
(ниже молочай, волчцы, медуницу)  
в пепел волос.

Сноска Красный  
(rossa, casa, фазаний лоск)  
не один час заливает  
птичье перо, волчье лыко и прочую лебеду,  
при достаточном свете  
бегущую со всех нот.  
Гимн пыли угас наконец-то.

Нерестяные соты в кустах; обитатели  
в моих силлабах, вечно попарны:  
овсянки, дрозды, куропатки,  
щеглы, с пробой дождя.

К замиранию света уместны  
ктознаёт или гдекудá.  
К затягиванию пляски оттенков  
(или беглых почек, глаз в глаз?),  
свою зрочки я рихтую.

Туман, серо-бурен, шхерится  
в ущелинах моей памяти,  
вбивает мне негу в плоть.  
Время ковчега,  
я знаю.

В состаривании  
минут поседев,  
тьнь напоззает на тень,  
ночь на ночь.

От крыла к крылу.  
Безутешный простор  
шпорит время.

Однако вишневый жар,  
облаченный фавн,  
слетает с мечты на мечту и  
шепчет, довольный.

(Если бабочки грезят, смеются звезды,  
танцует месяц на подуночной волне.)

Боль, слаше, чем  
наслаждение сброшенной кожей  
над танцующей дюной  
(крик зимородка  
выдергивает меня из сна).

Casa Rossa, твердишь  
и разглаживаешь ладонью  
камень, в глубоких отметках  
неизжитых времен.

Каса Росса, и что знаешь  
то дерево, что со мной смеется.  
Зиждитель историй, скажешь,  
ствол этот, возраст и свет, по ночам  
достигающий небес.

Он прямеет для нас;  
ему подкидываешь монетку.

Кто жил здесь, твердишь,  
тот день за днем вел птичьи речи,  
ночами откликаясь на мертвенный  
крик зверообразных.

Если изнемогу,  
что сплошь и рядом бывало,  
станет на сердце теплей  
и эти камни обитаемы станут,  
будто созвездия в нежной сети  
соцветий мальвы.

Если изнемогу, твержу,  
давай-ка вспомним недавнее море  
и, изнеможенно-красивы,  
полюбим друг  
у друга иней волос.

*Хансуэли, моему дорогому другу и спутнику жизни  
в 63-й день рождения, я хочу знать,  
что Ты счастлив.*

Нуль,  
не место.  
Всё куражится  
лихо в голове,  
и на небесную карту  
я не нанесена.

Не было весен,  
шепчут голоса шлака,  
на шкалах языка  
я, мол, звук невесомый  
и времечко подсеку  
оком во всеоружии.

Будущее?  
Оно же меня не отпустит,  
криворожденную меня.  
В путь, говорит,  
смерть лишь ресничка  
на веках света.

Там, возле колодца  
(rozzo, скажешь)  
созревает мирабель.

Уже сам звук, мирабель,  
ошвартован в щепотке мира,

что расщепленных нас сцепил,  
наконец, сим мигом озарен.

Лунные ласточки, маховой свет их перьев  
споласкивает боль с нашей кожи, прежде  
чем та, продливши, в усердии  
обретает сон.

Твой рот одомашнивает слово,  
заботливо обставляя молчанием.

Журчание арфы на дне  
этой нашей криницы  
(поццо, скажешь)  
себя само настроит.

Ненарушимое, неразменно,  
впоется в твои глаза, становясь

местом, местом  
с капелькой покоя  
для прибеглого.

Не было моря у наших ног,  
напротив, каким-то  
чудом мы его избежали, едва  
нам — беда, как говорится, не ходит одна —  
к сердцу приковали стальное небо.

Напрасно пришлось на месте лобном  
оплакать своих матерей,  
цветом миндаля мертвых детей укрыть,  
чтоб согреть их во сне, долгом.

Черными нас высевают ночами,  
чтобы потом, в час рассвета  
земля выскребла нас из наших потомков.

Даже во сне отыскиваю для тебя иссоп и мяту;  
уступи, око, тебе говорю,  
и что уже не суждено глядеть в их лица,  
когда их руки закаменевают.

Вот оттого-то иссоп, мята.  
Смиранные на твоём лбу,  
когда жнецы на пороге.

*Всем рома, синти и енишам,  
всем еврейкам и евреям,  
всем, кого убили вчера и убьют завтра.*

Не грезой настал звездопад,  
лишь черным камнепадом.  
Кричала во сне  
и собирала камни,  
бросая их в нерожденную  
страну утра.

Нищий споткнулся, поднял,  
в его руках сделались золотом они.

Готовое лететь слово  
легло меж нами,  
сочилось черным и золотом  
в наших взглядах,  
нас сплетая в них.

Безумие это тоже слово.  
Кто заберет его в плен, обиходит  
то, что между мной и звездой до  
злата в нишей руке доросло?

Камень, мара, и  
признаюсь без обиняков,  
сердце сбито,  
с тех пор оно потерялось.

Теперь, чернотой отягощена,  
ныряю в негостеприимность света,  
не ведая, что небо обрушивается на меня,  
не зная милосердия.

Объята небом, я ищю  
своего побратима, ищю  
его с золотым слитком в руках.

И небо, наконец, откроется,  
мы отчалим, без слез.

Этим летом армии птиц уходили прежде  
времени над крышей  
замшелой к югу.

Старорóжденные армады эти,  
с их неоперенным смехом,  
сладость юности на  
крыше нашей сказалась болью.

Должно быть, сила удара м́ара  
взвила старость, смерть, махи их крыльев,  
что долго, слишком долго слышны нам были.

В деревнях рассуждали о всемогуществе неба,  
крест за крестом обмазаны кровью,  
рядами расставлены и заговорены.  
Бог заручился и пред утратой  
птичьих стай затворился в молитвах.

Безвольно земля прозябала,  
не созревала пшеница,  
в слезах застывали розы.  
Дневные часы, обучены истечению,  
черную тризну  
про́клятых вдруг предъявляли ночи.

Ты и я, мы просыпались в комнате душной,  
замшелый брус оседал,  
боль настигала нас,  
будто была расписана в волнах.

ВОТ

дурочка моя серого глянца  
катится к виноградине солнце  
каплет кровь в разноглазый сланец

вот катящаяся моя виногорошинка  
канун праздника стропил и конька языка  
скользит жадно сквозь лед листвы  
верности (венерина подвижность  
пасхальный веночек распятой клятвы)

и ах

уже гложет стая бродячих  
слов вечернюю сырость  
грудью моей выкормленного не-света  
едкая хмурость

(вина градина в крепких тисках  
моих оперившихся хребтов известняка)  
вот мечтает твое бедро из стекла  
о близнеце из стали  
о корнях далей моих рука из тростника

грезит нет-нет-никогда-снежинка  
безбезбезбезумия нет-нет-ни-за-что-пушинка  
белого безумия назад в чашу  
цветка заточения  
(священная Пиза обоих моих сердец)

мечтают луны  
по седьмому кругу  
твою отполосовать кожу  
от плоти

скачет единорог он ал  
себе на спину время взвалил  
среброчешуйчатое звено  
потеряно в седьмом лоне  
кибелы

топ-топ черные тролли  
в тон пульсирующему моему мозгу  
что нынче вне моих песен  
зацвел

вот  
дурочка моя серого глянца  
роза зимы в тебе прописалась  
будто залог дурочка моя серого глянца  
вакуоли в цитоплазме страхов  
в рост пошли

ты катящаяся моя  
каменно-серая  
вот  
утка моего шепота  
во льду листвы

*1980/8*

когда-нибудь-ноги  
как-нибудь-стежками  
снежнорунны  
поручни тиши

пуст сон путевой  
всхождения к лунам  
каймит льдами смеха  
ущербленный свет

и слезный плач  
икар о  
слезный

брат по молоку  
мы привечены оба  
времени тонкой  
нитью

так месяцерукой моя  
станет песнь  
ранить глубь  
твоего слуха

лишь в шаге ночи

нежная звукопись  
юрского утра  
(и, как обычно, вороны крики)

докрасна выцелован синий  
куст инистых роз

медвежьи бега в ночи  
разграблены мои светотоки  
медвежья должно быть это  
в ночи садов моих добыча из  
звездных копей

и пустое подо мной небо  
(что пробует неумелой стопой  
нащупать родину)

пихтовые пряди  
просветы зеленой  
печали

выцветшие сны

ты  
машешь в ответ  
моим отмирающим крыльям

*Май 1982, вальтеру м.*

Шапкой-невидимкой  
собирается дух в прогнившем  
Содоме.

Ничто не скрасит тот особый  
свет между  
мыслью и смертью,  
частица меня самой  
живой себя признала  
сущностью в иле  
и ждет терпеливо.

Шапка-невидимка тот  
час сохранит мою боль,  
что сохраняет мне жизнь.

*Любек, 04.10.04*

Строчка волны  
записана внутрь шторма:  
опасно по борту

У пожирателя звезд  
вечный прикус

попутный зюйд-рот-вест  
криптически сбитые толпы

цедят невольникам пепла  
жизнь которой как не было  
так вряд ли будет.

Возьми меня раз  
просит черт  
вознесенный

в ангелы печали  
моей  
прислушайся к качке часов:

к противомирам  
к свингу в дыханиях  
чужих языков

голосá Джанго  
звучат: здесь дом.

*14.7.2016*

Он скачет, он мчится  
зимний мой сын  
стареющий скачет гном  
к вечно-пустыннице-боли:

стонет мой слезный кобольд.

Звездой на киселе  
тщится светом подтопленная  
всемогущая урна тщится  
прах безымянного  
лично развеять:

тем самым небо сдержав.

Страх кукует в  
междущарствии  
зовущему горе издалека  
отдается  
зовущему силлабовольно:

расплавленное в огне слово.

Взрослеет моя  
печаль  
большая дорога беду раскричала.

Дай же мне сметку,  
ты о цвете вишни в цвету,  
дай мне одно завтра;

а напоследок смерть.

*6.2016*

## Противомиры

*Начать с того, что мертвые свободны от причинности.*

*Знание, доступное им, – знание о времени – всё́м времени.*

Иосиф Бродский

Еще раз  
я слéдом  
крови наощупь  
к ушкú.

С гребня мечтаний  
сорву запорную нитку,  
с губ скоротечно ближнего  
завет отчизны я сотру.

Найди себе покой  
в непокойном.  
Щепотку соли на  
раны мира ссыпь.

Похоже, слово мое корни  
вбивает в прощение,  
и часовой стрелкой  
разóблачен кошмар.

Слушай  
же, крик в ветвях акаций  
ночь гасит мне светом,  
сходит в тени короны

нищенской на смерть.

Кровь-камнем притянутые  
смерть в смерть,  
намертво кость в кость  
воссоединены.

Розовая заря алеет,  
зимующая в отречении,  
во власть насмешек гномона  
исторгнута навсегда.

Я не имеюсь в виду,  
если речь зайдет об улыбках  
или фазанка в лесу  
отцветает в осень легко.

Выморочный поход  
мой долинами плача  
ведет меня в пещеры  
репьебглазых.

Все мои авангарды, цепь в цепь,  
вокабулы дикая рать,  
в тыл метят вернуться.

Я всё еще  
стреножена надписью.  
Я всё еще по нити  
небывалости в  
ночь иду.

Еще слежу глазами  
я за отплаканным.  
Еще у зашуганного слова  
своего кладу камень у камня.

С чтанием звездноязыких  
я не дружна, как и прежде,  
моя кочевая кожа лишь у  
врат непростившихся  
переводит дух.

Бежит огня,  
преследуя свое  
личное небо.

Горькие звезды свой  
дом выносят на рынки.

Раневой ветер лишенных  
огня тревожит.

На моем плече  
отдыхает он.

Остров резких секущих восходов солнца,  
безжалостная красота: свет,  
запечатлен на чужеродном лбу.  
(Слушай, дваждырожденный страх.)

Ничто и всё хочет добропожаловать мне,  
рокопожатие, на ощупь словно  
отечество на ладони у нищего,  
пророчит к неурочному сну.

Богопроницаем побег в облачные недра,  
где ничья чужесть не обнажит судьбу  
и каждое счастье справляет вечное утро.

(Не торопись, друг, в сердца́ себя возьми,  
тона́ этой радуги слушай.)

Ради тебя пробиваюсь в закрытую рану слово,  
не щадя ни хаоса знаков,  
ни слуха любовных солнц.

Ради тебя рву отговорки  
с дерева прекословий,  
передаю их тому,  
кто закрывал глаза.

Но всё-таки жухнет над нами небо,  
для скоморохов часа  
любая отсрочка  
крест.

Смерть, помстившаяся,  
еще раз стряхиваешь для  
меня огни с древа сновидений,  
выдворяешь прощающуюся  
обратно в светость.

Под пологом зимних птиц  
я плоть от костей отскребла,  
к дарам вечерним сложив,  
ты всё, рвущее мое сердце,  
внутри ока морского забудь.

Бог вселенских скитальцев  
да даст мне отсрочку,  
богиня кажимостей да  
наставит в путь.

Прибившиеся ко мне части фраз,  
скученные слова и слов обрывки,  
всего лишь *силлабы, сломлены*  
и напрасны в дальнейшей дороге

по камерам рассветного сердца.  
Там горе ночевает,  
пеплом ставшее время.

*Искья (Сант-Анжело), 26.10.99*

Час пробуждения  
в клещах прекословия,  
робеющий в сени  
неизбывного.

В рубцами покрытое  
вспять повторно упасть.

Там, на обрывках снов,  
зачерненных, один  
из здешности к скале  
незыблемой откочевал.

Нечему держать руку  
тревог, ее порывы в  
открытую рану.  
Некому из-под ига меня вести.

Видишь, сонм ответчиков,  
захваченных лабиринтами слова,  
украшает мое имя лунами  
чертополоха.

Бессчастливая ночь,  
замаранный сном моток времени,  
лишь в полушаге вослед этому  
миру в безопорность.

В запустеньях затерян,  
неслышим звон моего близнеца.  
Расклеваны глазницы, глотки  
ордами воронья выпиты напусто.

Бесплодная жалоба,  
в непокорство погружена,  
вглубь себя удаляется и молчит.

Ладонь, вся поседевшая  
в неосязаемом,  
торит свой путь среди топких минут.  
Другая, забита, забыта в себе самой.

Заблудшие мечты  
учатся угасать на щербатом  
краю вселенной.

Спешу, неси себя обратно на небеса,  
тут не место для бивуака,  
тебя, как соседа по келье,  
никто мне не возвестит.

Шило в моей плоти, оно  
ищет сочувствия у бесчувственного,  
не плаваясь,  
цветет и сеет вражду.

Ветрил волос мой,  
Ветрило и слово,  
искра смерти мои  
сжигала за часом час.

Напрасным ангелам мое горе  
черными веночками вьется,  
расстриженный отовсюду,  
меркнет за светом свет.

Вымечтай себя крепким, друг,  
сотки цветной мост на сторону дня,  
оставь меня с болью, моим дитя-  
никому, обнявшимися в стане слепых.

*Т. Б.*

Гиакинф, опекун лепестка моих ран.  
Под твоим цветоложем  
нашла я смертельный диск  
вкушающим благодати.

Зовы птиц, словно по линейке,  
жемчужная нить сквозь хребты словес.  
Вот опускаются луносветые перья:  
непетая, тебе причастная песнь.

Время открыто для всех, что,  
замечтавшись о звездной пыли,  
затанцевались в стельку.

Мы подаем себе знаки,  
Сноп световой из уст в уста.  
Маковые ветринки на наших веках.  
И, наконец, у врат  
сожженного часа  
несломленное слово.

Кристалльно чиста,  
говоришь ты о мерзлой земле  
под шиповником,  
нехоженой, как всякий Эдем.

Лишь раз твоя тень упадает в  
устье, лишенное косточек;  
вот куст в цвету и его уже нет.

Цикутой напитана, поздняя  
эта осень высматривает мои солнца,  
ее плоды суть жухлые  
травы и фаза смерти.

Ласкайте же, кто может,  
размечтавшееся это  
наречие ветряных жил,  
любите же, кто может,

стареющую кожу мою.  
Минутная удача, я знаю,  
и, как всегда, без гарантий,

но я встаю на  
слуху́ у ангелов.

Верни мне назад эту ночь,  
зрачок этого дня  
лишает меня ума и смысла.

Днем молния бьет  
в спящее слово,  
обогащает пекло  
на одно пламя.

Дневная чужота  
меня студит.  
Гибнет легконогое,  
слово за слово друг против друга:

эти нешпоры заблудших.

Буйность безумия гнездится во мне,  
стачивает в прах мою кожу,  
молит о снисхождении,  
ищет приют в ушах тишины.

*Пассиньяно, 19.12.99*

Синь,  
вперена в свой свет,  
синь, тенями  
сонных трав омрачена.

Взгляд и глаз твои  
вписаны в синеву,  
и никому не дано видеть рот,  
иначе нужно застыть,

застать многие имена.  
Брать час за часом  
из сна как  
хлеб, вновь тебя створяя.

Это бы болью  
в тиши отклика стало  
и одним роздыхом ночи,  
позвавшей провидца.

*М. Д., Лучиньяно, 15.12.99*

Не перебесилась  
в крови тишина,  
не разочтется со мной  
бегство:

нет мест в доступности лёта.

Море камней,  
глушь в серых венах,  
улыбка, изболевшая насквозь,  
подсевшая как всё потерянное на звезды.

Свет, испит слишком резво,  
недозрелый день  
бесшумно канул за горизонтом.

Я превратилась ли в ночь?  
Реву ли со ступеней смерти  
в лицо близнецам?

Смелей, ветер в спину,  
разбей их, тягу к звезде,  
исход. Кто его сдержит,  
у того, говорят, вымерзнет сердце.

*Пассиньяно, 22.12.99, 3. А.*

Мой тлеющий ангел.  
Еще вчера рвался голодный  
сквозь стрелы стрéлок,  
скорбь вне сравнений  
в стареющем зраке.

Теперь он искуплен ночью  
(отправлен в верше, кто знает)  
как свежие хлопья снега  
или как птенец в волосах  
обездомленного.

Что мне известно  
о летящих тенях, о свинцовых,  
об утешных ущельях, куда  
несут они затхлость побега?

Так что известно о дне моем,  
вне судового журнала  
алчущем далее?

Сердце фазана прострелено. Немо.  
Никто не смеется за едой,  
как мы делаем,  
когда под горячую руку нам  
попадется зверь.

Никто не освободит  
сердце от тенет Иоанна,  
одного от верности  
беззащитной другому.

Никто не вспомнит ту притчу:  
Ядите плоть мою,  
пейте кровь мою,  
как мы пробуем, мы,

кусы мяса, отложенные  
с иной охоты,  
когда не стало крови,  
наши краткие  
ночи исцелить.

Лишь после вызреет ежевика  
в осень, вызреют лесные орехи  
бесшумно.

Затем замолчит тишина,  
раскрепостит предзнание.

Мой сон бросился вон  
на разбросанные далеко камни.  
Я за ним, последней жизнью обнесена.

А нынче ветер крадет  
свет из моих ладоней,  
высмеивая время  
в дым фальшивых благословений.

Тайны нет, взяла да и испарилась,  
как будто не была, всё ищет  
своего хозяина,  
слово.

Бросилась вослед  
ветру, в разбросанные далеко камни,  
обглаживает себя и меня по самые кости,  
как будто бы скалы не наносят увечий.

Диск луны немеет.  
Звезды черны вдоль дороги  
к рубежам смерти.

Но слышишь, среди камней  
детский голос,  
легок, как птичье перо.

*Т. Б.*

Вставайте, мертвые,  
разнострадавшие дети-никому.  
Капли с ветвей хлебного дерева.  
Его побеги отнюдь не  
для вашего раскинуты сна.

Пора в дорогу, мертвые,  
дети-никому, ибо только  
если мы идем, если идем,  
нам не страшна поспешная  
красота покоя.

Из ран ваших сочатся  
вокабулы, тернии, так  
надобные нашему горю.

В дорогу их,  
в цитрусовые сады и пустыни,  
на ложе их, посреди корней  
четырех стихий:

посреди золотистых огней,  
посреди гневных ветряных корней  
месяцев осени,  
посреди петлистых воздушных корней  
моря и, наконец,  
посреди материнских корней земли.

Они у вас поднимутся,  
дорастут до мыслей,  
ведь стражи убиенных не спрашивают  
о нас, о послеоставшихся,  
о ваших безродных братьях и сестрах нет.

Они спросят о вас,  
многих изгнанниках,  
и поведут вас туда,  
где волчьей ягодой плодны истоки.

Пейте, пейте, обестененные,  
вы выполаскиваете боль из  
ваших измученных тел.

Готова в путь, родина в горсти,  
и, в красное знамя  
утреннего солнца облечена,  
я рвущийся только вперед свет.

Меня не вернуть вспять,  
ни одному месту, разве твоему,  
благословленному пневмой любви.

Лишь красноперый птах один  
у меня на пути чернеет,  
один шут с последней ветошью боли  
в своей котомке.

Он тянет кровавый след безумия  
по долине, трясет до поры  
свитое в свиток время.

В ушах смешок шута,  
я странствую всё дальше и дальше,

родина в горсти  
гасит жажду.

Созвездие пастыря надо  
мною и всё же  
пропитанные кровью ночи:  
часы агонии.

За полночь у меня отмирает  
за сердцем сердце,  
вот и последнее я уже  
отдала.

Там, где оно горело,  
горит теперь нечто без имени  
светило созвездия пастыря,  
утратившее цвет по пути  
в чужбину.

Его печаль впеваётся  
в пыль от последнего из  
моих сердец,

впивается сквозь черные времена,  
вгрызается в русла моих истоков,  
бессмысленных сталактитов неба.

Что дальше? Куда дальше  
в печали, громоздящейся на печаль?  
Смотри, как мое созвездие кровоточит,  
сочатся все раны кровью.

Смотри, кровоточу,  
но никто не придет,  
нет смерти, даже нет жизни.

Страж миров расположен шутить.  
Я межвременьями окаймлена.  
Их игра земле и небу по нраву.

Преданы за  
могилой могила тьме,

пустые мечты,  
всходы нужды безверой  
вымыты на  
необетованный брег.

Как жилы сквозь  
скалы, путем тишины они  
влекутся на свет, оставляя  
остальное  
иному дню.

Что со мной, с тем  
чердаком, полным рухляди?  
Что с болью той, тем  
безумием в бременах?

Терпение, обещано  
без напора:

Твой ангел покоя, так  
величаем мы смерть,  
он всё еще в другом месте.

Так что я  
всё еще запродана этой земле,  
как и мои истоки, сросшиеся

с ночью, этот отклик  
некой черной звезды.

Что станется, если уставший  
с дороги, с крылом  
подбитым, мой ангел  
покоя, брошенный  
всеми, рухнет вместо меня?

**Под созвездием Волка**

Приснопадая,  
он шаркает вдоль ручья,  
птичья песнь обычна  
для слышащих полутоны.

Тут кажется ему вдруг,  
планирует звезда в него  
или же в воду.

Нет, скажет,  
ты и в этот раз  
слишком поздно  
(или рано, кто знает).

От ручья вдаль,  
приснопадая,  
всё уменьшаясь.

*Уэли Эленбергеру*

Спать, скажешь,  
самое время,  
покуда прилив

вымывает гнильцу  
и этим жизнь мою  
обращает к миру.

Спать, скажу,  
ведь годы и лета  
я не смыкала глаз,

снила наяву,  
как ищут меня  
пути вернуть водной  
воронке.

И впрямь, бремя воды  
глаз терпеть понуждало  
назначенное ему:  
зеро.

Рдеет как ночь окрест,  
сумевшая расколоть и луну,  
ни жизни в рдяности той,  
ни желчи.

А знаешь, радость всегда  
давала прибежище лжам,  
дробным тентаклям иллюзий.

Так что ж ни один  
со мной не вернется  
в море решить то,  
что из ангельской  
вышло власти?

Время опорожнить стакан.  
Оборонить тот дом.  
Этот лунный блеск.

Оно осядет там,  
молчание, где  
будущее идет  
сквозь временную щель.

Радостное молчание.  
Церберу, говоришь,  
незнаком покой.

Ему белым шумом пройти  
сквозь самую малую щель.  
Ему бить, говоришь, имея  
в виду смерть.

Впрягай мое имя  
в любое слово  
как глупец, как я.

Рисуй мир барочным,  
он все еще здесь,  
лишь краски давно выцветают.

Вне всяческого сочувствия  
я сплю и не кличу братьев,  
которым слово не удалось бы как мне.

Реальность глазеет из бойниц,  
есть ли мне до нее дело?  
Мне ли хитрить, с моим-то  
порченным сердцем?

Я вижу день,  
лепестки,

полеты фазанов,  
филинов слышу в ночи  
и прочих мудрых зверей.

Я непригодна  
для житья в этом мире.

Дурное пробуждение,  
ведь вымечтан целый мир,  
но только ядрышко ада  
на ладони.

Дурное пробуждение,  
ведь о расцветших деревьях  
шла речь, в то время  
как деревья пали от  
черной гнили.

Дурное пробуждение,  
ведь это жизнь в платье  
смерти шляется  
по помосту.

Дурное пробуждение,  
ведь разрешена  
любовь, только двери  
закрыты.

Дурное пробуждение,  
ведь разливается весна,  
ведь это тело мое  
подлежит распаду.

Оружия жаждет  
лишь безумие,  
венчая непобеду  
триумфом.

Плачь, горячий брат,  
приложи всё свое  
упрямство к поискам  
собственного близнеца.

Он, даже  
делаясь прахом, смеется,

и его смех  
проникает в скрытую ложь  
ложи зевак.

Станет воспоминанием беглым  
он, брат мой, сер-горюч, словно небо  
наших отцов, не знавших,  
чему улыбаться

при всех своих ранах,  
укладывавших их по могилам.

Едва надежда  
перевалит высоты  
моравских холмов, вы

тут, как водится, тут,  
вершительны, крушительны,  
жертвоприносительны.

Давно не спускаете  
с меня глаз.

Но силы вашей не стать  
на то, чтоб, вслед  
за матерью, и меня  
выдернуть с корнем,

меня в забвение  
определить. По-прежнему  
воспоминания длятся,  
прошедшие настоящие.

Слезы их суть мое иждивение,  
крики их суть моя память,  
прах их мой насущный хлеб.

*Эрике Педретти*

Мы спим, руки в  
моей твоя, в чаши  
аронника вживлены.

Куда же заснуть,  
смеешься ты во сне,  
если не ко мне в сердце,

что ведомо тебе,  
словно мак на летних полях?

Где, любимая, впредь  
искать тобой избытые муки, где вновь  
отыщу твой рот, что некогда, как и мой,  
знавал в смехе толк?

Где на моей коже жар  
той твоей любви?

Я есмь. Всей желчи назло.  
Не уходи.

День, притерт к  
молодому небу,  
пока бесцветен,  
мечтами и снами  
подбит.

Я твердо стою на отмели  
раннего часа, вдали от  
всевозможных костров.

Заботами многих рук  
грянут дрова,

но проклятые уже  
проследуют  
дорогой праха.

Остальные исчезнут,  
гонимы фуриями  
сквозь пояса, давно  
лишенные меток.

Ты, отданный огню херувим,  
там правит бал раздрай,  
как будто бы небо  
это хаос без правил.

Сломанная синеглазка  
на моем пути к стене  
перламутра.

Поднять ее, сжать,  
может, согреть  
и отпоить ее песнями,

как будто бы любовь  
глубокоодуряющей синью  
всех гроз уже отмыта была,

а все решетки  
суть призрак.

Будто бы заново снег  
выпал, и Троя  
еще не пала.

Будто всё  
волей всего говорит.

Даже надежд, которых  
мы, бедны как метеориты,

не в праве  
себе позволить.

*Томасу Бушу*

Нет.  
Не видать себя  
в зеркале зеркальных  
зеркал.  
Нет.

Обычный  
в потоке базальта  
обратный путь,  
путь домой, да?  
Нет.

Здесь вязнет  
по берегам кровоморья  
безутешье, без-  
надежная стынь.

Нет, я говорю, и что  
это, наконец, изречено.

Изречено? Да ну?  
Горе тем,  
кому даются уста.

Решилась на одну фразу:  
Под знаком белокостных небес  
убиваю и есмь.

Уже прочь влекома.

*Каролине Х.*

Я не избегала  
городских перекрестков,  
опасно радостно проселком  
живя.

Но исход близок.  
Развяжи мне рот,  
ты, о время,

ведь нынче, словом  
ославлена, не  
жить решаю,  
так глухарю твержу;

молчит.

В ковше тишины  
вернусь я,  
неявности заявляя прощай.

Вместо ковша провал,  
черный как смерть,  
был бы впору,

чтобы спокойно познать  
молчанье.

Говорят,  
что беду не ждут,  
она сама, мол,

не оберешься крыльев  
над нею парить.

Напротив.  
Востребованы  
колени или

подобные  
покалечения.

Слово в дорогу  
выходит,

мы разделим его  
или нет.  
Обряд, пока не  
позабудутся все слова.

Лишь тишь от- и рас-  
цветет.  
В наших телах.

Ничьей свободы я  
не лишена, ни твоей,  
ни своей.

И всё же спрошена  
с пощенной улыбкой  
и жаром смерти  
в глазах о моей руке.

Жару покорна,  
врываюсь я в этот узор  
и вырываюсь, как на треке,  
без преград и границ.

Молю тебя о свете,  
ковш ладони дай,  
а то и приют  
лагуны тела, пусть

даже и бездонной.

Глубоко, глубоко,  
в глубинной глуби

себя не встречу  
ли вновь:

Салют тебе, потерявшаяся.

В такие часы  
я вступаю в неозначенный  
край,

взятые в долг слова не рвутся  
на помощь, опущенные  
руки поднять.

Гермес стал на обочину,  
божественный ватажник и вагабундо.  
«Отдайся моему взгляду,  
рот свой замкни,

возрадуйся в ужасе и позволь себе  
страшное».

Но, как бы то ни было,  
мой пернатослов  
падет.

Те перья,  
золотой на моей руке,  
грядущим словам не впору.

Где это видано,  
доверяться пеплу.

Вернувшись,  
он снова поспешит быть крылом.

Вейо, братец,  
журчит твоя река,  
ландшафт, то и  
дело оттачивающий  
смерть в цвету.

Из лабиринтов томлений  
на свет твои глаза убегают,  
пока не слышно пенья сирен,  
нетронутые тропы торя.

Вейо, братец,  
укутанный прошлым своим,  
как все бесподданные,

в странствованиях к  
той собственной правде.

Утешение обитает в каждой  
попытке то, что во снах утонуло,  
вернуть назад.

Как в радужной улыбке твоей,  
так и в гневе моем оно как дома.

Откуда ты, ты спрашиваешь?  
Давай обживем с тобой море  
в воспоминаниях,  
останемся бездомными навсегда.

Откуда же ты?

Не вопрошай, всяк  
заповедный проклят  
вопрос, чреват  
опасностью потеряться.

*Вейо Бальцару*

Морская зыбь  
смело списывает меня  
на берег,

но ни одной песчинке,  
ни одному камню я не отвечу.

Умнея в маневрах,  
мое в шапку-невидимку  
назад смывается слово.

Но мы поладим снова.

Бери же меня  
с морем назад,  
еще лежат плоды на  
вашем плато,

возлюбленные уста.  
У врат прячься,  
несмело ночи  
смогу дождаться.

Мы спаслись от себя,  
говоришь, даже если  
мы всё еще в поиске слов.

Лепет предгрозя  
грозит нам, пока  
сейчасное здесь  
в белое иглу крадется.

О новых мечтая фразах,  
как будто весна на подходе  
(о вероломный отслух),  
обман, плавником  
дрейфуя, суется в наши глаза.

Где нет примёт утешения,  
несвернутую гору  
испытывает слово,  
собой единым питаюсь.

Возьми себе ветвь омелы  
под снегопадом, быстро,  
речь зимы расцветает именно так.

Сообщения от тебя,  
беспыльные шепоты,  
когда сон берется за наши  
тела, мы слышим зов

и погружаемся в саркофаги  
всего суетного.

Куда зовет то,  
что расцеловано в кровь,  
и чем все живое  
разнится беззвучно?

Ангел горьких трав,  
не смотри,  
когда они наших  
вбирают мертвых,

когда уповаем тщетно  
на утешение.

В этих их полях ни  
один огонь другому огню  
не друг.

Так что опять одни,  
раскиданы по всем дням,  
шелку тишины присягая.

Загадочен твой висок,  
кобальтов и не стареет,  
пусть даже его клеймлю,  
его не тронет мороз.

Срыв зияет посреди  
ткани мыслей.  
Тебя же, в твоей мантии кобальт,  
не трогает террикон воспоминаний.

На росстани встань и жди  
моих старых песен.

Сквозь все дни  
протягиваю тебе руку,  
хоть знаю, ей не

дотронуться до тебя,  
в движении окаменев.

Кожа твоя, до моей задолго  
рассаженная о камень невзгод,  
вечным пыткам обречена.

В гробу из стекла,  
омытом пожарами,  
каждый истает крик,  
станет отрадой тишь.

Полет журавлей мне не  
удалось отсрочить,  
ни корм, ни питье так и не помогли.

Морок? Кошмар?  
Завязь невзгод на сердце,  
кто знает.

Я дожидаюсь утра,  
без надежд, другие законы  
рассыпят семя другой надежды,

но мечтаю об этом,  
без стыда.

Тревоги хором мою  
бередят кожу, меня,  
ороговевшую не вчера.

Рожденная в молчание, я  
все-таки и до сих пор  
рискую искать место.

Усики скорби у сердца,  
что ни бегство, я вновь  
не у дел,

загнанная,  
я гоняюсь без цели,  
без смелости, те обе  
две

прикованы к иероглифам  
смерти. Изорванная,  
сквозь неторную страну я кричу.

Твой брат, полыхающий слог,  
твое извергшееся сердце  
разрешается в моей ладони  
в загадку.

Твоя сестра, смерть,  
ее светила, вороновы сердца,  
я, сбитая в любом из дебютов,  
заика вневременного свечения.

Вчера? Завтра? Когда?  
Прощания затопили край,  
где, верилось, мне не угрожают.

Закапываю себя в свое горе  
обобранной птицей.

В твоей руке изо мха  
лежу, крылом бедна, сверх  
меры устала.

За смертью смерть на  
небе жизнь белой буквой пишет,

шепотка удачи, возможно,  
жемчужно-бела.

Лишь с тобою.

*Феликсу Шнайдеру*

Гравитация хандры  
в продвижении к плечу  
другому, врезающаяся  
и в кости других.

Хор мертвецов из  
миновавших дней.

Выкричит трижды петух  
новорожденного к свету,  
к стоящему на песке часу утра  
ветер сгонит крик.

Никто не захочет к севу в  
срок урочный родиться,

так остро в глубины худа  
неисповедимые страх  
вьедается при виде  
скудной земли.

Ярок был утренний час,  
так яр, будто воин  
вел бы свой меч в  
сердцевину.

Я закрываю глаза и сердце,

пусть кровь искупит язык  
и, сбросив все бремена,  
мой день растает  
с мечтами.



*Русский Гулливер*

планирует выпустить в серии

ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА

книги

Яна Вагнера, Рафала Воячека,

Сигитаса Гяды, Тимотеуша Карповича,

Моники Ринк, Збигнева Херберта,

Эберхарда Хефнера, Ульфа Штольтерфота

*Русский Гулливер*

планирует выпустить в серии

БРАТ GRIMM

книги

Бориса Бартфельда, Игоря Белова,

Станислава Винценца, Леты Земадени,

Войчеха Пестки, Щепана Твардоха,

Михаэля Фера, Зигмунта Хаупта,

Аншлава Эглитиса

[www.gulliverus.ru](http://www.gulliverus.ru); [www.gvideon.com](http://www.gvideon.com)

ISBN 978-5-91627-151-5



9 785916 271515

Еще на сердце твоём листва,  
и свежая щепоть соли  
стынет во взгляде.

Каких там я корешков  
и чьего я ока зеница,  
никто не узнает вовсе.

Всё чаще в крови поет волк,  
мне сразу теплеет  
в одном чужом наречье.

Свет, я скажу, волчий свет,  
скажу, и да не явится ни один  
стричь мне косы.

РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР

---

**GULLIVERUS**